

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 2

“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ...”

Случившееся с Вадимом по пути в столицу едва не окончилось трагедией. “Когда мы возвращались в начале апреля 1943 года в Москву, – рассказывал Кожин, – я перенес то тяжелое недомогание, которое постигло многих людей, вырвавшихся из блокадного Ленинграда.

Дело в том, что перед отъездом кто-то надоумил мою мать купить для обмена на продукты в дороге стекла для керосиновой лампы, которые имелись в ашхабадских магазинах. И, действительно, на некоторых станциях за такое стекло отдавали, например, две жареные курицы. Отвыкший за год от подобной пищи, я съедал ее буквально с костями, и в результате ко дню приезда в Москву еле-еле передвигал ноги...”

Вадим чуть не умер и вынужден был продолжительное время провести на больничной койке. К счастью, медицина была на высоте, и мальчишку удалось спасти.

“Сейчас как-то забылось, – вспоминал Вадим Валерианович полвека без малого спустя, – что после победы под Москвой вплоть до осени 1943 года линия фронта на отдельных участках проходила всего лишь в двухстах километрах от Кремля! Однако Москва жила это долгое время без особой тревоги, хотя и скудной, но многосторонней жизнью; и мои сверстники, тогда тринадцатилетние... ясно видели и чувствовали спокойную уверенность города и его Кремля в незыблемости от столь недалёкого фронта...”

И в этой атмосфере тревоги за близких, бывших на фронте, предчувствия скорой победы, общего воодушевления на фоне очевидных жизненных тягот воздух был насыщен поэзией. Стихами и песнями. Во дворе молодая учительница, муж которой – на передовой, читает вслух симоновское, известное всей стране, стихотворение, не сдерживая слез, а собравшиеся упоенно слушают, переживая каждое слово, каждую паузу.

*Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.*

Что уж говорить о песнях! Из репродукторов, в тех же дворах под аккомпанемент баяна или простой гармошки звучали, призывали, грели душу “С берёз, неслышен, невесом...”, “На позицию девушка провожала бойца...”, “Бьётся в тесной печурке огонь...”, “Эх, дороги, пыль да туман...”, “Ночь коротка, спят облака...”, “Тёмная ночь. Только пули свистят по степи...” Позже со слезами горечи и радости одновременно, под полный стакан или “всухую” пели победители (побеждавшие и на фронте, и в тылу) – “Враги сожгли родную хату...”, “Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...” Больше всего Кожинов любил одну из фатьяновских песен, и уже в зрелом и пожилом возрасте напевал ее своим слегка надтреснутым голосом:

*Горит свечи огарочек,
Гремит неравный бой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой!
Не тратя время попусту,
Поговорим с тобой.*

Предоставим опять же слово нашему герою:

“Ясно помню себя школьником пятого класса московской школы №16. 1943 год. Наш класс – старший тогда в школе – едет на грузовике за дровами для отопления школьного здания. И мы поем – и по дороге, и в перерыве между тяжкой для совсем ещё юных и недоедающих тел работой и после неё. Немецкие танки стоят в Гжатске (через много лет мы узнаем, что где-то там недалеко в деревне подрастал тогда девятилетний Юра Гагарин), всего в 180 километрах от Белорусского вокзала... Но нас это нисколько не страшит, и, полагаю, не будет выдумкой утверждение, что защитой была в то время и песня – как для нас, так и для всей России... Каждый юнец мог петь тогда потому, что из радиотарелок в любой квартире постоянно звучали голоса настоящих певцов (пусть не всегда выдающихся, но настоящих), певших и старинные и сегодняшние песни. И наше – разумеется, заведомо несовершенное – пение было отголоском настоящего...”

Через два года, в 1945-м, Кожинов записывал в дневник запомнившееся из военных лет:

“...4 года войны. Москва, озаренная заревами июльских пожаров; тревожные, страшные дни; 9 дней пути через Россию, Казахстан, Среднюю Азию; чёрные дни эвакуации, сумрачной тенью проходившие надо мной; зловещие призраки нищеты и разрухи; первые победы в Междуречье; обратный путь, полный счастливых надежд и чаяний; первые дни в столице, изменившейся от страшного года; вестники небывалого разгрома врага, наступление, победы, вторжение в Германию перед открытием немцами Западного фронта англичанам, и, наконец, крах врага и победный сказочный салют 9 мая, – всё это соединилось в одно целое, тесно сплелось с обыденными фактами, всё это само по себе стало обычным...”

...Вадим продолжал запоем писать стихи. Несколько стихотворений и “поэму”, называвшуюся “Ответ соловья”, его старший товарищ послал Александру Жарову, достаточно известному тогда стихотворцу из плеяды “комсомольских поэтов 20-х годов”, и через некоторое время получил от него следующий ответ:

“...Стихи мальчика Вадима я прочитал с живым интересом. Для 12-летнего возраста они просто достижение, правда, чуточку опасное: если мальчик в этом возрасте убедить, что он уже поэт, то можно тем самым принести ему вред, нарушив нормальное его развитие. Пусть лучше он относится к сочинению стихов пока, как к приятному культурному развлечению, но ни в коем случае не перенапрягает своих сил, чтобы раньше времени казаться себе заправским писателем... Наблюдательность, которую я обнаруживаю во многих строках Вадима, мне весьма приятна. Но и ее следует развивать, на мой взгляд, спокойными темпами. Накопление впечатлений надо сочетать с накоплением познаний. Это лучший путь постепенного формирования личности, на определенной ступени которого может всерьез начинаться поэт! Прошу Вас

эту мысль популярно объяснить Вадиму, если, конечно, Вы сами признаете правильность ее...”

Далее следовал разбор “поэмы” с многочисленными указаниями на неточные рифмы, а завершалось письмо доброжелательным внушением: “Достаточно сказать ему пока, что ляпсусы у него есть, что они... в большинстве, естественны и прощательны пока и что у него есть несомненные задатки поэтических способностей, зачатки свежести языка и особого поэтического зрения. Всё это надо развивать помаленьку на основе общекультурного и житейского роста. Писать надо ему покамест поменьше, а читать хорошие книги — побольше, а то можно исписаться раньше времени...”

Был еще один человек, с которым Вадим состоял в постоянной переписке, которому он посылал свои стихи. Это — его тётушка, родная сестра отца Зинаида Фёдоровна Кожинова.

О ней Вадим Валерианович обронил несколько слов в уже упоминавшейся статье “Правда и истина”: “Младшая сестра моего отца, врач З. Ф. Кожинова, была ассистенткой знаменитого терапевта Д. Д. Плетнева, осужденного в 1938 году на 25 лет заключения за “умерщвление” Горького, Куйбышева и других; она была изгнана из клиники, скиталась по стране и, наконец, по своей воле, завербовалась в лагерные врачи в Воркуту”.

(Профессора Плетнева “подвели” к этому процессу через организованную диффамацию, предварительно обвинив в “насилии над пациенткой” — обвиняющее письмо, судя по всему, психически ненормальной женщины было опубликовано в 1937 году в газете “Правда” через три года (!) после “случившегося”. Небезынтересно, что резолюции, клеймившие еще недавно всеми уважаемого врача, подписывали, в частности, такие его коллеги, как В. Зеленин, М. Вовси, Э. Гельштейн, А. Земец, Б. Коган, о которых страна через пятнадцать лет — через ту же “Правду” — узнает, как о “врачах-убийцах”... Подобного рода факты и их сопоставления также откладывались у юноши в памяти).

В кожиновском архиве сохранилось несколько писем Зинаиды Федоровны к племяннику, где она не только рассказывает о своей бытовой жизни, но делится жизненными картинками, впечатлениями о прочитанном и увиденном в местном кинотеатре, о прочитанных стихотворениях юного Вадима.

“15.11.44 г.

...Твое стихотворение “Весна” я читала своим друзьям, и все мы нашли, что оно очень неплохо написано. Конечно, оно несовершенно, но все же очень и очень недурно... Произвести более детальный разбор в этом письме я не могу за недостатком времени, а в части стихов считаю себя вообще плохим мастером всяких стилистических фокусов, поэтому боюсь взять на себя такую миссию... Больше читай — это лучшее средство овладеть литературным языком. Но читай вдумчиво, серьезно, делай выписки, это очень помогает закрепить в памяти прочитанного и извлекать из него пользу... Посылаю тебе несколько трав из тундры, расцветенных осенними красками. По ним ты можешь себе представить, каким красивым ковром расстилается тундра осенью...”

“9.10.45 г.

...Много и долго я жила тесно и близко с природой, встречалась с ней в разное время суток и в весеннем цветении, и в знойное лето, и в золотую осень, и белой, пушистой зимой, такой милой и поэтичной в родных просторах... Много дорогих сердцу лирических картин сохранила память за семь с лишним лет моих участковых скитаний... В них вошла и суровая мрачная красота таежной глухомани Нарыма. Она не была близка сердцу, но также была полна своеобразного очарования, немного подавляющего своей первобытной дикостью... Здесь есть довольно милые уголки и тоже своеобразная красота, но сердцу так хочется иногда родного, так много говорящего без слов...

Ты пишешь, что прочел нынче летом “Войну и мир”... Какое совпадение! Я тоже только что закончила эту неповторимую книгу, прочитав ее, кажется, в 3-й, если не в 4-й раз... Конечно, она нисколько не утратила для меня своей свежести и очарования. Больше того, в ней я, как в зеркале, увидела пройденные мной пути-дороги, отразившиеся в новом восприятии когда-то прочитанного. Вот будешь и ты шагать дальше по жизни и, наверное, не раз прочитаешь еще это монументальное произведение. А читая — увидишь, как

ты изменился, как портрет Дориана Грея в оригинальном произведении Оскара Уайльда (читал ли ты его?). Больше того, читая “Войну и мир” сейчас, я не могла не проводить параллели с нашей великой эпохой и с теми великими событиями, свидетелями и даже участниками которых мы только что были...”

(Это наставление, видимо, вспомнилось Кожинуву, когда он писал в статье “Искусство живет современностью” уже в 1966 году: “...Я хочу напомнить жесткий, но неотменимый закон: книгу, которую нельзя прочитать во второй раз, не стоило читать и в первый. Если человек даже прочитывает каждую неделю по книге, он за целую жизнь сможет прочитать всего две-две с половиной тысячи книг. А “Войну и мир”-то и “Братьев Карамазовых” надо бы перечитать раза три. Поэтому приходится выбирать”).

“25.1.46 г.

... Вот уже больше 2-х месяцев перегружена работой, не имею выходных, мало читаю, нигде не бываю и даже на сон времени не всегда хватает. Прими хоть теперь мои запоздалые поздравления с Новым годом... Где бывал? Что видел? Это, немного, жаль, что ты мало посещаешь театр, т. к. посещение театра очень развивает, расширяет кругозор, прививает художественный вкус. Но еще года 2, и ты сможешь ходить туда один на любые спектакли, тогда и увидишь много хорошего. У тебя ещё всё впереди, и с театром никогда не опоздаешь... Кино у нас стало что-то редко, вот за месяц я видела только 3 картины: 1) “В 6 ч. веч. после войны” 2) “Сестра его дворецкого” – америк. фильм и 3) “Маленький погонщик слонов” – английский фильм по Редьярду Киплингу. Очень приятное, какое-то светлое впечатление произвел на меня первый фильм с лирическими стихами Гусева, музыкой Хренникова и режиссерским талантом Пырьева, автора “Свинарки и пастуха”, тоже очень понравившегося когда-то. Второй фильм исключительно пуст и бессодержателен. Третий – много лучше второго. Читаю мало – нет времени. Прочла художественные биографии-романы о Верди и Жозефе Фуше (надеюсь, об обоих слышал и знаешь). Сейчас читаю “Кузину Бетту” Бальзака и “Записки штурмана” Марины Расковой... Сегодня пуржит 7-й день подряд, дав только 2 раза короткие передышки на 2-3-4 часа...”

Зинаида Федоровна не просто была прилежной читательницей. Она (о чем Вадим Валерианович никогда не упоминал) с юности писала стихи. Сохранилась ее тоненькая тетрабочка, куда аккуратным почерком переписаны ее стихотворения начала 1920-х годов.

В этих модельных опытах она подражала даже не поэтам “серебряного века”, а, скорее, стихотворцам 1890-х годов, творивших по следам Надсона, Апухтина и Фофанова. Да и названия говорят сами за себя: “Романс”, “На мотив из Достоевского”, “Осенние мотивы”, “Мелодия печали”, “Сон”, “Вы помните?”...

*На осинах лишь листья слегка протрепещут,
На березах росинки как слезы заблещут,
На душе станет легче, и в сердце больном
Вновь заблещут надежды безумным огнем.*

... Вадим, судя по сохранившимся страницам его дневников, много и где-то даже бессистемно в это время читал. Это тоже примета времени – книга ценилась в каждом доме выше многого и многого – что наверно, сейчас, молодые люди не в силах себе вообразить... Но помимо чтения – был и еще один серьезный стимул к собственному творчеству: стихотворство отца и тётушки. Незначительное, подражательное, не оставившее ни малейшего следа, но оно много значило в той атмосфере, в какой рос юноша, для его самоопределения. Живое поэтическое слово, какими-то неуловимыми нитями связанное с прошлой, оставшейся за дымкой времени эпохой, давало своего рода основания для концентрации собственной творческой энергии. Вадим читал и писал, читал и писал...

Из его дневника:

“3.1.43 г. Я окончил 6 класс средней школы, проучился полгода в 7 классе... обогатился новыми знаниями, написал много *неплохих* (относительно...) стихотворений, научился плавать... получил новые представления о людях, о жизни, прочитал несколько десятков книг, собрал библиотеку

в 100 томов... Жизнь моя хороша и весела... Но что ждёт меня впереди? Кем я буду? Буду ли я счастлив? Кто мне может ответить на эти вопросы? Никто. В бога я не верю, в судьбу верю. Эта странная формула слепа, но, кажется, справедлива. А что, если она не справедлива?.. Ну что же, жизнь прекрасна и коротка. Надо прожить ее так, чтобы перед смертью не жалеть о неиспользованном счастье, не скорбеть о бесцельно проведенных годах. Итак, мой тост за жизнь!"

(Кстати, о "библиотеке в 100 томов". Послевоенное время было золотым временем для библиофилов, книжных коллекционеров. За сущие копейки на книжных развалах, располагавшихся на базарных площадях, можно было купить ценнейшие (в историческом смысле слова!) книги XVI–XVIII веков, не говоря уже об изданиях пушкинской поры и второй половины XIX столетия. Нетрудно было из подобных "покупок" составить и роскошное собрание раритетов "серебряного века", включая и раритеты, вышедшие в считанном количестве экземпляров.

На этих же барахолках (москвичи старших поколений вспоминают знаменитую "Тишинку") разворачивалась торговля иностранными товарами как европейского, так и азиатского происхождения. Всё привезённое – немецкое, американское, английское, венгерское, чешское, японское – продавалось, покупалось, перепродавалось, выменявалось... Это была нормальная жизнь того времени, времени послевоенной разрухи, когда люди вынуждены были вертеться, как получалось, чтобы прокормить себя и свои семьи. Как вспоминал Кожин, "вполне подобная нынешней широчайшая "коммерческая деятельность" стала уделом миллионов (кстати, и я сам – тогда школьник – в известной степени был в нее вовлечен")...

8.1.45 г. "Вчера 7.1 (Рождество Христово!)... Привез от п/я 269 три своих книги: Лион Фейхтвангер "Сыновья" и "Иудейская война", В. Скотт "Граф Роберт Парижский" – часть III. Сейчас сажусь за продолжение и переписку своей "Истории западноевропейской литературы в ее выдающихся представителях и лучших памятниках". Мною уже написано (начало еще в 1944 г.) 5 глав из нее. Это: Греция, ранний Рим, "Золотой век", Христианство, Раннее Средневековье. Всего же книга должна состоять из 9 глав. Осталось написать: Гуманизм, 17 век, 18 век, и также, если окажется возможным, 19 век. Завтра я решил съездить к З. (Дом Правительства)...

20.1.45 г. ... Собрана коллекция монет, выпущенных русскими государями, начиная с Анны Курляндской и кончая Николаем II (1738–1901 г.). Достал книгу (изданную Народным университетом) "Очерки по истории русской литературы" (меня заинтересовала в ней новейшая литература). Написано стихотворение (вернее, дописано) "Корабли, встречаясь в море, разговаривают друг с другом огнями" (Лонгфелло) (Это не название, а эпитафия)... Прочел книги: "Записки Пиквикского клуба" Дикенса... "Как закалялась сталь" – Островского Н. (в полном издании) и сейчас читаю "Рожденные бурей". Отписал письмо З. Ф. Кажется, получилось ничего...

30.1.45 г. ... Ну что же я сделал за последнее время? Нахватал двоек в школе, написал стихотворение "На Берлин", прочёл рассказы Тургенева: "Затишье", "Переписка", "Пасынков", "Первая любовь". Впечатление – прекрасное!

9. IV–45 г. ... На улице стоит прекрасная погода. Лучи солнечного света врываются в комнату. Неумолчно щебечут птицы за окном. Весенний ветерок бороздит воздух, разнося благоухания весны. И словно нарочно, для того, чтобы весна вселила во всех еще большее очарование, в воздухе звучат неповторимые мелодии штраусовского вальса (радио). Звуки наполняют комнату, журча и переливаясь, как прозрачные воды хрустального горного ручейка. Хочется идти, хочется лететь куда-то далеко-далеко, в таинственные леса, под ветвями которых лежат, сохраняя свою зеркальную голубизну, небольшие лесные озера; в луга, которые давно обнажились и кое-где покрылись молодой, нежно-зеленой травой-муравой; куда-нибудь дальше и дальше, в привольные и прекрасные своей необозримой шириной русские степи, усеянные цветами и полные птичьих песен. Жизнь хороша, хороша тем, что вокруг расстилается чудная, неповторимая русская природа, прекрасна произведениями искусства и древностями, прекрасна любовью и чувствами, и те, те, которых я презираю всем своим существом, те, которые не понимают ни искусств, ни природы, те, у которых нет чувств, только эти полулюди не могут быть счастливы

в этом мире. Я люблю свою родину, Россию, люблю три березы на узком клине земли, поросшем травой, люблю покосившиеся избушки с соломенными крышами, люблю раздольные, как сама Русь, песни, люблю нежные и грустные, полные любви к тебе, Россия, стихи твоих поэтов. Пусть я буду несчастлив в жизни, пусть только горести выпадут на мою долю, но я буду помнить годы своей юности, буду любить природу, искусство, поэзию и буду чувствовать и любить. Да исполнится это!..

20.V-45 г. ... Зеленеет молодая трава по обочинам фронтовых дорог, блестит чистая вода реки с торчащими из неё сваями разрушенного моста, зелёный лес со сломанными стволами и ветвями, с грудями разбитого и ржавого железа на просеках и полянах, полон птичьего гомона и цветущей зелени. Всё кончено. Только незажившие ещё раны остались на груди России. Да кипит ещё ненависть к немцу в сердце русского человека за родимые горы и сёла, за любимых людей, за сломанные берёзки и поруганные святыни... (выделено Вадимом Кожиновым. — С. К.).

11.VI-45 г. Сдал пять экзаменов... Но ведь ещё шесть! Завтра немецкий язык. Этот собачий язык! Что мне до того, что на нём писали и говорили Шиллер, Гёте, Гейне? Что мне до того, что в Германии родились Гуттен, Гольбейн, Кранах и Дюрер? Все они, или почти все, были патриотами своей гнусной страны. Пусть они рожутся в развалинах рейнских замков и воспевают рейнские берега! Не лежит у меня к ним сердце! Да здравствует Россия! Пусть цветут её поля и зеленеют берёзы и рощи! Не жалкие идиллии германских колбасников, а раздольные песни русского народа люблю я!

Сегодня тёплый хороший день. Сегодня... ходил купаться (в Москве-реке. — С. К.)... в Нескучном, на Воробьёвых горах и в Берёзовой роще. Любоваюсь чудесными левитановскими видами. За годы войны парк запустел, пышно разрослась трава и кусты. Аляповатые скульптуры сброшены с пьедестала!..

Сейчас я интересуюсь, как и ранее, историей Москвы и её архитектурой. В данный момент увлекаюсь историей Замоскворечья, где я сейчас живу..."

(Настроения, которыми пронизаны эти страницы, типичны и естественны для того времени. Многие и многие впервые, вдохнув мирного воздуха, ощутив под ногами окровавленную и разоренную, но мирную землю, стали про себя и вслух произносить слово "Россия". Кстати, в дневниках Кожинова мы встречаем именно это имя Отчизны — никогда он в личных записях не употребит аббревиатуры "СССР" или сочетания "Советский Союз". И не потому, что ему чужд интернационализм — мы еще увидим, сколь безоснователен этот упрёк, периодически бросающийся в его сторону. Но историческая Россия, вобравшая в себя всю военную и мирную, кровавую и относительно спокойную современность, стала его главной и всепоглощающей любовью.

Отношение к Германии также очевидно естественно для тех послевоенных дней. И вот эти настроения долго не задержатся. Он выучит "этот собачий язык" — который, можно себе представить, с каким трудом давался мальчишке в последних классах школы! Он будет читать немецких поэтов и учёных в оригинале и напишет умные и проницательные странички о влиянии немецкой философии на русскую литературу в первой трети XIX столетия).

"20.X-45 г. Пятнадцатая осень склонила надо мной золотые березы свои. Холодный и сырой ветер срывает золото и бросает на дорогу, и люди топчут поверженную красу. Лес стонет, и скрипят молодые березки от порывов ветра. Серые тучи плывут по серому небу на юг и проливают дождь на мокрую, поблекшую траву. Но вот пришёл тот день, и полетели белые мухи, и закружились над землёй в торжествующем танце. Всё сильнее и сильнее сыплет снег, чистый, холодный, мёртвый... Скрыл он под собой осеннюю грязь, окутал землю белым покровом, повис на ветвях деревьев.

Вечер. Чисто небо, улетели тучи далеко, луна сияет с неба, звёзды шлют свои бесстрастные лучи на засыпающую землю. Снег блестит зеленоватым блеском, волшебные деревья как в сказке стоят, в белом серебре. Леденящий ветер застыл и повис прозрачным туманом между землёй и небесами..."

3.XI-45 г. Эта осень очень плодотворна в отношении моей поэзии. С июля месяца я написал 8 стихотворений и одну поэму "Москва", правда незаконченную. Почти все стихи пессимистического содержания и только последнее в оптимистическом духе..."

Плохи дела в школе. Нахватал много двоек. В четверти будет, вероятно, 3-4 двойки. И по поведению снижена отметка за опоздание"..."

Вот, пожалуй, и ответ на вопрос, почему Кожинов уже в зрелом возрасте утверждал, что “в школе учился очень плохо”. Осталась в душе заноза от того, что он, круглый отличник в начальных классах, так “опустился”. Двоек-таки в табели успеваемости не было, но предметы “непереносимые”, по которым больше “уд.” не получал, видно сразу: геометрия, всё тот же немецкий и военное дело... Впрочем, похоже, книжное собирательство, собственное творчество и изучение истории Москвы значили для него в это время больше, чем школьные успехи.

А нота лирического патриотизма в дневниках всё не ослабевает.

“Русь! Страна моя чудная и великая. Сердце моё то замирает, то бьётся с пылкой страшной быстротой, когда я вижу тебя. О, Родина! Почему я так люблю твои леса и степи, реки и озёра. И когда весной иду по твоим зеленеющим рощам, почему я обнимаю со слезами счастья березы и мне хочется броситься на землю и целовать её? Почему когда я вижу волнующийся океан ржи с ласковыми голубыми огоньками васильков, всё трепещет во мне? О, я люблю тебя, Русь, прекрасную, как сама жизнь, необъятную, как небо, и бессмертную, как любовь! Очарование родной старины приводит меня в упоение... Как мне милы твоя страстная цветущая весна, лето с утренними туманами и ароматным лесным зноем, грустная золотая осень и вьюжная зима. О, сколько нежной любви я отдаю тебе, Россия, о, сколько вдохновения и свежих сил ты мне приносишь! Приди вновь, пылкая весна, одень голые ветви берёз в зелёный дым и пропой гимн жизни, счастью, любви!

Я сын твой, Русь, я верен тебе до смерти, благослови ж меня на жизнь, Родина!

8 ноября 1945”.

Понятно, что это писал пятнадцатилетний школьник. Понятно, что любой из читавших критические, литературоведческие, исторические работы Вадима Валериановича в 1960–1990-е годы не мог не почувствовать в них глубоко запрятанного, временами еле ощутимого схожего порыва. Он присутствовал в “словесном теле” его писаний, он прорывался в минуты, когда Кожинов читал Пушкина, Есенина, Рубцова или брал гитару и пел русскую классику или свои любимые стихи тут же присутствующих поэтов на собственные незамысловатые мелодии... И всё же — никогда, насколько мне известно, в обыденной жизни он не позволял себе раскрыться подобным образом. Любовь к России, к Руси (обращает на себя внимание это слово в дневнике 1945 года!) он нёс глубоко и затаённо, подчас дружелюбно иронической или намеренно суховатой репликой сбивая излишний пафос беседующего с ним.

А сейчас мы подходим, пожалуй, к главному в этот период его жизни. К школьному окружению.

“1-го сентября 1945 г. я пришёл в среднюю школу №16 ЛОНО... 7-й класс “А”, где учился я в 1944/45 г.г. был довольно дружный класс, т. к. большинство учеников учились вместе с 5-го класса. Ребята моего круга были Е. Скрынников, Н. Запенин и другие, менее близкие. Скрынников уже сейчас в худож. училище, т. к. обладает недюжинным талантом...”

Художник Евгений Скрынников оставил короткие воспоминания о мужской школе №16 (с 1945 года с СССР было введено отдельное обучение). В частности, он вспоминал:

“Дима жил тогда на Донской улице, а я на Большой Калужской, 12. Конечно, ходили друг к другу в гости... У меня дома — и на Калужской, и потом, когда я переехал, на Ленинском проспекте — была колоссальная библиотека (мой отец имел возможность приобретать книги по спецсписку). И Дима, конечно, любил рыться там...”

У нас был директор школы по прозвищу Геббельс; маленького роста, очень любил ораторствовать. Он строил все классы в коридоре, залезал на стул и произносил речи. Ещё любил вызывать к себе в кабинет и говорить по душам (спрашивать, какие у нас есть вопросы, о чём мы думаем и т. д.). Я помню, в седьмом классе мы с Димой на полном серьёзе спросили его: а в чём смысл жизни? И он не смог ответить на этот вопрос... Добрые воспоминания у меня остались о преподавательнице по литературе, которая привила нам вкус к классике. Всем нам, “гуманитариям”, трудно давались точные науки. Учитель математики Ангелина Фёдоровна нас прямо называла баранами...”

Об Ангелине Фёдоровне, и не только о ней, вспомнил и другой одноклассник Вадима — Гелий Протасов.

“Контингент учащихся в нашем классе был самый разный. В нём учились дети как высокопоставленных советских чиновников, министров, известных артистов и ученых, так и дети рабочих и служащих...

Соответственно уровень воспитания “контингента” был разным. Поэтому между учащимися проходила незримая граница, разделяющая “интеллигентов” и “босяков”. Вадим по своему воспитанию относился к “интеллигентам”.

Вспоминаются уроки истории, на которых наша “историчка”, Зоя Федорова, заставляла нас заучивать до десятка разных исторических дат. Мы, “босяки”, конечно, делали шпаргалки. Вадим же отвечал на вопросы без всяких “шпор”, а потом к ним добавлял такие исторические подробности, что удивлял не только нас, но и нашу учительницу.

Но когда проходил урок математики под руководством Ангелины Фёдоровны, то для некоторых из нас, в том числе и для Вадима, наступали критические моменты... Она просто свирепела, если кто не мог решить задачи или примера. Она в буквальном смысле хватала такого ученика за шиворот и начинала таскать его с криками: “Болван! Дурак! Баран!” – от одного края доски до другого, тыкая его головой в классную доску. Ткнув бедолагу в один край доски со словами: “Болван! Видишь, что ты здесь написал?!” – а он с испугом отвечал: “Вижу!” – она тащила его в другой край и, тыкая его головой в доску, кричала: “А теперь, что ты, баран, написал, видишь?” Ошалелый ученик отвечал: “А теперь не вижу”. В классе раздавался дружный хохот...

Подобные преподаватели раз и навсегда убивают интерес к своему предмету – нет ничего удивительного, что математика Вадиму на этих уроках давалась с трудом, и занимался он без всякого желания (домашние задания – другое дело, здесь он включал свою фантазию, подвергал ум жесткой “гимнастике”). “Евгена Зелёная” (так называли её ученики) пыталась своими “методами” воздействовать и на него, но тут нашла коса на камень. Вадим один раз негромко ответил ей таким образом, что та больше не пыталась не только воздействовать на него физически, но и прекратила все словесные оскорбления.

Интеллектуально Кожинов умел постоять за себя с подросткового возраста, но, честно говоря, наблюдая его в зрелости и в “пожилом периоде”, я (и думаю, не только я) не мог представить себе его участвующим в драках даже в школьные годы. Но Гелий Протасов вспоминает, что Вадим не давал себя в обиду и более старшим, и более злобным соученикам. Так, он сначала послал куда подальше сына директора фабрики “Красный Октябрь”, перед физической силой которого пасовали и пресмыкались другие его товарищи, а потом вступил с ним в жестокую драку. Досталось Вадиму крепко, но тут за него заступились “босяки”, которые с одобрением отнеслись к “интеллигенту”, не побоявшемуся себя защитить.

Однако в других ситуациях Вадим вступал в войну уже с “босяками”.

“На протяжении всей учебы в школе Вадим был центром, вокруг которого формировался кружок из художественно одарённых ребят, – вспоминал Протасов, принадлежавший к “босякам”. – Из них впоследствии вышли такие известные в нашей стране люди, как скульптор Бобыль, театровед Николай Запенин, художник Евгений Скрынников, главный директор (в 60-е годы) музея Кремля Евгений Сизов, писатели Алешковский, Семенов. Помню, как они дружно защищали от “босяков” в 6-м классе старичка-учителя, преподававшего нам то ли уроки рисования, то ли скульптуру. Они вступали с нами в жесточайшие конфликты, когда мы пытались сорвать его уроки. Вадим же всегда был заступником этого учителя-гуманитария”.

А теперь самое время обратиться снова к кожиновскому дневнику с его яркими и запоминающимися характеристиками уже упоминавшихся и еще неизвестных нам Вадимовых друзей.

“14. XII. 45 г.

Наступила настоящая зима. Глубокий снег лежит на земле, и холодный ветер обжигает щёки. Я учусь (вернее, хожу) в 8-м классе 16 школы. Класс разнородный, в нём почти 40 человек, оригинальных и интересных (за некоторым, конечно, исключением). Вот круг, в котором я вращаюсь:

I. Запенин – парень 16 лет с лицом чахоточным, тощий и высокий (около 180 см). Чёрствый эгоист. Ум довольно ограниченный, главным образом

не тонкий, не острый и не весьма глубокий. Зато знания – велики. Очень интересуются историей, искусством, вообще гуманитарными науками. Счастлив в своих исканиях: множество книг, предметов искусства и т. д.

В школе совершенно ничего не делает, лишь “парту греет, да завтраки получает”, по выражению учительницы математики свирепой Ангелины. Он хочет поступить в музей служащим и поэтому совершенно на всё махнул рукой. Начал недавно писать стихи и увлёкся ими совершенно. Знаком с ним я уже около трёх лет. Без него у меня не было бы моей коллекции. Души у него почти нет и обращается он со мной деспотически, и за это я его не люблю и всё время возмущаюсь. Лишь за последнее время почувствовал ко мне уважение.

II. Евсеев. Тоже высокий “молодой человек”, но моложе меня на 2 месяца. Большой красноречив и любит блеснуть речами. Очень умён, но ум не особенно глубокий. Остроумен, вспылчив, ленив. Учится плохо – хуже меня. В конце этого лета начал писать стихи. Стихи, за небольшими исключениями, наивны, плохи и без чувства. Написал уже с полсотни стихов и продолжает писать. Очень высокого мнения о своей особе, называет всех ослами и идиотами. Страшно непостоянен, по-детски. Я горд тем, что имею на него влияние в стихах. Самонадеян, но знает мало. Терпеть не может, когда его учат или задевают словами. В эти минуты он считает, что всё, что он говорит, прекрасно, благородно, неоспоримо. Романтичен постоянно. Ну, о нём хватит. Напишу потом ещё чего-нибудь.

III. Белицин. Высокий блондин. Проницательный и глубокий, но не острый ум, знает очень мало, но умнее предыдущих. Очень выдержан и обладает сильной волей. Мечтает стать дипломатом и для этого постигает тайны дипломатии и изучает языки. Все люди для него – лишь пешки для его ходов. Из всех привык извлекать пользу, чем отличается от бескорыстного Евсеева. Имеет обаятельную внешность и обаятельные манеры. Лыстит всем вокруг, все свои действия подчиняет дипломатии, оставляя это скрытым. Когда я его раскусил, он очень удивился и заявил, что я “чертовски умён и проницателен”. Врёт всё, о чём только можно врать, и никто не знает, что у него внутри делается и какова истина. Интересно говорить с ним наедине, разгадывая его понемногу. Учится средне.

IV. Рыбаков. Красивый “молодой человек”. Неплохо рисует. Скрытен и самодулюбив. Друг Евсеева, который относится к нему страшно наивно, не замечая этого сам. Молчалив и сдержан. Учится хорошо. Хочет быть архитектором. Любит рисоваться. Весьма силён.

Вот круг моих приятелей, с которыми я, правда, всё время ссорюсь, и которые ссорятся друг с другом. Близится новый год и конец 2-ой четверти”.

В этих едких, острых, “нетолерантных” (выражаясь современным жаргоном) характеристиках кожиновских приятелей обращает на себя внимание одна существенная деталь – за единственным исключением Вадим начинает разговор об их качествах с “характеристики ума”.

Это первое, что привлекает его, первое качество, по которому он выбирает людей для дальнейшего общения. Второе – тяга к литературе и искусству. Они все писали стихи, посвящали их друг другу, обменивались ими, обсуждали, критиковали, спорили до крика. . . Георгий Семенов в зрелом возрасте стал одним из тончайших русских прозаиков, не снискавшим громкой славы, но оставшимся в истории литературы удивительной свежестью стиля своих рассказов и повестей (Кожинов еще напишет о нем). В Вадимовом архиве сохранились посвященные ему целые циклы стихов отъявленного школьного хулигана Юзика Алешковского, человека довольно злобной природы, который сначала вылетел как пробка из среднего учебного заведения за то, что вытянул железным прутом одну из учительниц пониже спины, а затем, протрудившись какое-то время на подсобных работах, сел в тюрьму по уголовной статье за угон машины. По следам своего пребывания в “местах, не столь отдаленных” он и написал впоследствии песню, пользовавшиеся определенной популярностью (я помню, как Вадим Валерианович напевал их под гитарный аккомпанемент): “Товарищ Сталин, вы большой учёный. . .”, “Окурочек”, “Птицы не летали там, где мы шагали. . .” – и другие такого же рода. В конце концов он тоже связал свою жизнь с литературой, писал вполне добропорядочные (хотя и не больно талантливые) повести и рассказы для школьников, параллельно с этим подпольно сочиняя чёрную антисоветчину, обильно нашпигованную матом, видно, полагая это своим главным достижением. В конце концов эмигрировал в США.

Подобного рода персонажи частенько попадались на пути Вадима Валериановича, и нам предстоит еще не одна возможность посмотреть на них вблизи и поговорить об их “жизни и творчестве”. А теперь снова послушаем нашего школьника и поэта.

“31. XII-45 г.

Осталось шесть часов до конца 1945 года. Земля в своем непрерывном вращении начнет новый круг вокруг Солнца. Как всё просто и закономерно течёт в системе планет! Как, наоборот, наша жизнь неравномерно, прыжками и скачками, как по ухабистой и извилистой дороге, несётся куда-то и только одна судьба знает, где приостановится и замрет её непостижимый человеческому уму бег. (Хороший пример – стихотворение А(лександра) С(ергеевича) П(ушкина) “Телега жизни”. Чорт возьми! (Именно так – через “о”! – С. К.) Это же Гоголь!)

*Год грядущий! Что скрыто в тебе
Недоступное мысли моей?
Много ль радостей выпадет мне
В незнакомой чреде твоих дней?*

Так писал я три дня назад в своей “оде” “Оттепель на Новый год”. Надо было бы подвести какие-нибудь итоги, записать дела, да лень несусветная витает надо мной и губит меня! За четверть получил двойку по физике, остальные тройки... четверки... пятерки... Поведение еще не знаю, какое, но ниже пятерки?! За “мнимое хулиганство”, а верней, за гордость или, лучше, упрямство, и за длинный язык...”

Чем-чем, а благонравным поведением Вадим, действительно, не отличался. Но его “приключения” явно выходили за рамки обычных школьных про-ступков.

Об одном из таких случаев вспоминает Гелий Протасов:

“Запенин, которого мы за длинный рост и неимоверную худобу прозвали Дон-Кихотом, был очень нервным и неуживчивым парнем. Прочился он в нашем 9-м классе всего год. Способностями к учебе он отличался слабыми, кроме знания истории и литературы.

Вместе с Вадимом они посещали разные исторические места Москвы, музеи, выставки. Со стороны Запенин и Кожинов как-то напоминали героев Сервантеса – Дон Кихота и Санчо Пансу. Однажды, при посещении этими “героями” Исторического музея, им понравился один из небольших экспонатов, и они решили взять его “на память”. Их заметила служительница музея и подняла тревогу. “Дон Кихот” был пойман и доставлен в отделение милиции. В милиции было заявлено, что виноват во всём “Санчо Панса”, он был якобы инициатором взятия экспоната из-за неудержимой любви к историческим реликвиям. Вадима вызвали на заседании педсовета, и встал вопрос о его исключении из школы. Однако чистосердечное признание своей вины и поручительство за него директора школы Николая Михайловича (того самого “Геббельса”. – С. К.), учителя истории, помогли ему остаться в школе. Со стороны нас, одноклассников, предательство Запенина вызвало большое возмущение и еще большую неприязнь к нему. Вскоре он вынужден был перейти в другую школу. Правда, дружба двух “героев Сервантеса” не прервалась. Они продолжали дружить и после окончания 10-го класса, вплоть до гибели Коли Запенина в авиакатастрофе”.

Другой случай мог вообще закончиться далеко не так благополучно.

О нём через много лет вспомнил сам Вадим Валерианович. Вспомнил не как о чисто автобиографическом факте, но как о факте истории, как о примете времени. “К сожалению, – писал он, – люди очень редко (или вообще не) задумываются о том, что их собственная личная жизнь, и само их сознание – неотъемлемая (пусть и очень малая) частица Истории во всём её мощном движении и смысле. Людям кажется, что это движение и этот смысл развёртываются где-то за пределами их индивидуальной судьбы, – или, вернее будет сказать, они именно не задумываются о том, что их, казалось бы, сугубо частное, “бытовое” существование насквозь пронизано Историей”.

А сама по себе история заключалась в следующем:

“Хорошо помню историю в моей жизни встречу с людьми Запада. Я был тогда учеником 9-го класса и увлекался рисованием. В тот день я зарисовывал

одну из башен московского Донского монастыря, — это было 17 марта 1947 года (рисунок с точной датой сохранился в моем архиве). Неожиданно в безлюдный монастырь вошли для его осмотра несколько французов, молодых мужчин и женщин, очень живых — “живиальных”, роскошно (по крайней мере на мой взгляд) одетых и источающих запахи духов и одеколонов; они казались пришельцами с иной планеты...

Мне они, конечно же, были интересны, но и я — очень бедно и уродливо одетый и худой от недостатка питания (мой отец был высококвалифицированным инженером, но жизнь абсолютного большинства населения страны была тогда весьма и весьма скудной) заинтересовал их хотя бы тем, что был занят “искусством” в безлюдном монастыре. Одна из французенок в какой-то мере владела русским языком, и у нас начался перескакивающий с одного на другое разговор.

Узнав, что передо мной французы, приехавшие на какое-то совещание — не помню, какое именно (тогда в Москве проходила конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. — С. К.), я — отчасти ради “эффекта” — удивил их достаточно существенным знанием их родной литературы и истории; затем разговор перешел на Москву, и я, в частности, сказал, что могу показать им те возвышенности, с которых Наполеон смотрел на Москву, вступая в неё 2 (14) сентября 1812 года и покидая её 7 (19) октября. У ворот монастыря французов ждала самая шикарная тогда автомашина ЗИС-101, а за рулём сидел довольно мрачный человек, который начал вполголоса допрашивать меня, кто я и откуда. Несмотря на юный возраст, я почувствовал некую опасность и назвал выдуманные имя и адрес. По всей вероятности, шофер этот был связан с МГБ, а я между тем всю дорогу на Поклонную (тогда еще не срытую, как теперь) и, затем, Воробьевы горы весьма вольно говорил с французами на самые разные темы...

Продолжение этой истории в изложении Гелия Протасова было следующим: “Естественно, эта самодеятельность не осталась незамеченной соответствующими органами, и уже на следующий день Вадим давал свои показания не только директору школы.

Перед педагогическим советом школы опять встал вопрос, что делать с неугомонным историком? Однако снова “чистосердечное признание” своей вины и незнание правил взаимоотношений с представителями дипломатического корпуса помогли Вадиму избежать крупных неприятностей...”

Кстати, о вольных разговорах на самые разные темы... Вадим, как и абсолютное большинство населения страны в то время, полностью разделял восхищение силой и мощью государства, победившего фашизм — эта сила объективно воплощалась в образе Сталина, как Верховного Главнокомандующего и руководителя страны. Кожинов, много лет размышлявший над объективными законами истории, сделал совершенно непререкаемый вывод, что “действительно громадное значение имел не сам Сталин, а миф о Сталине, который играл особенно большую роль во время войны, ибо миллионы людей верили, что во главе страны — всезнающий и всемогущий человек, ведущий их к Победе... И... этот миф, “объективированный в их действиях имел гораздо большее значение, чем сам Сталин”.

(Кстати сказать, и сам вождь государства прекрасно понимал разницу между человеком и сотворённым мифом. Однажды он позвал к себе кабинет своего сына Василия, на буйство, неуправляемость и хамство которого (“Я — Сталин, а вы здесь кто?..”) в очередной раз пожаловались школьные учителя. Поставив его перед собой, Иосиф Виссарионович сделал долгую паузу, а потом спросил: “Значит, ты — Сталин?” Опять — долгая пауза... “Значит, ты думаешь, что ты — Сталин?” Пауза... “Или ты думаешь, что это я — Сталин?” Пауза... Решительный жест рукой в сторону стены. Фраза, словно вколачивающая последний гвоздь: “Нет! Это он — Сталин!” Рука вождя указывала на его собственный портрет, висевший на стене).

Но одно дело — вера в надличную силу. И совсем другое дело — отношение к повседневным фактам бытия, которые, что называется, резали глаз... Вадим прекрасно помнил довоенное путешествие в Крым, где жил в татарском селении Отузы... Он приехал туда летом на школьных каникулах после войны, где видел развалины татарских домов и остатки виноградников. Как он сам вспоминал — “сердце мое скорбно сжималось. Я с глубокой горечью говорил тогда об этом близким людям”... Тогда он не думал (да едва ли знал)

о том, сколько советских солдат полегло в том же Крыму в результате массового предательства крымских татар (из 50 000 тысяч мужчин призывного возраста *каждый пятый* воевал на стороне врага), об огромном количестве дезертиров — представителей этого народа, становившихся полицией на службе у немцев, пополнявших зондеркоманды, входивших в местные оккупационные администрации... Всё это он проанализирует и обо всём этом напишет в своё время. Но тогда — реакция была живая, резкая и в чём-то (объясняемая и незнанием, и непониманием происходящего) — естественная.

Лето 1945 года... Только-только отгремел Парад Победы, “я вместе с тысячами людей стоял на набережной Москвы-реки у Большого Каменного моста, и когда до нас дошли возвращавшиеся по набережной с Красной площади шеренги фронтовиков, из всех уст согласно вырвался какой-то сверхчеловеческий — никогда в жизни более мною не слышанный — ликующий вопль... И никогда больше не видел я солдат, идущих столь торжественным и вместе с тем *вольным* (ведь шли люди фронта, а не строя) шагом. Это было захватывающим душу и неопровержимым воплощением величия нашей Победы, нашей страны”.

Не пройдет и месяца, как во время прогулки по Калужской площади с Евгением Скрынниковым, два друга увидят маленьких детей в лохмотьях, просящих милостыню... Скрынников ядовито “пропоёт”: “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!” Вадим, уже знающий о том, как из голодной России (деревня буквально вымирала) идут составы продовольствия в Германию, будет полностью солидарен с Евгением.

Явно негативное отношение к повседневной государственной политике прорывалось и в других ситуациях. “Помню, как, будучи школьником последнего класса (форменная одежда к нам еще не дошла), я оказался в сборище сверстников, которые шумно веселились вплоть до полуночи. Наконец, явился с протестом сосед, специально облекшийся в какую-то чиновную форму, — дабы выступить, как представитель государства, а не частное лицо. И одна из девушек, увлекавшаяся театром, гневно продекламировала фрагмент из монолога грибоедовского Чацкого:

*Мундир! Один мундир! Он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету;
И нам за ними в путь счастливый!..”*

Может быть, эта девушка была “первой любовью Вадима — Ириной”, о которой вспомнил Протасов... Надо сказать, что Вадим с юности был далеко не промах в общении с прекрасным полом... Специально одним из первых записался в танцевальный кружок, чтобы не ударить лицом в грязь в кружке балльных танцев в женской 17-й школе, куда “кавалеры” приходили на танцевальные вечера. Более того, в последнем классе школы Вадим снова оказался в директорском кабинете на педагогическом совете. На этот раз разбирался его “моральный облик”. Оказалось, что он имел близкие отношения с одной из девушек, в результате чего едва не встал вопрос о “женитьбе”... Каким образом развязалась вся эта канитель — история умалчивает. Во всяком случае, сам Вадим Валерианович не вспоминал ни о чём подобном.